

Александр Куприн

Лесная глушь



Александр Куприн

Лесная глушь

«Public Domain»

1898

Куприн А. И.

Лесная глушь / А. И. Куприн — «Public Domain», 1898

«Середина апреля. Вечер. Я иду по узкой, твердой, корчеватой лесной дорожке, которая двумя глубокими песчаными колеями вьется среди хвойного молодняка, выросшего вокруг серых дряблых пней. Рядом со мною идет Кирила, сотский из Зульни, впереди – полесовщик Талимон. Оба они шагают редко, но размашисто: под их ногами, обутыми в лыковые постолы, не треснет ни одна сухая веточка...»

Содержание

Александр Куприн

Лесная глушь

Середина апреля. Вечер. Я иду по узкой, твердой, корчеватой лесной дорожке, которая двумя глубокими песчаными колеями вьется среди хвойного молодняка, выросшего вокруг серых дряблых пней. Рядом со мною идет Кирила, сотский из Зульни, впереди – полесовщик Талимон. Оба они шагают редко, но размашисто: под их ногами, обутыми в лыковые постолы, не треснет ни одна сухая веточка. Время от времени Талимон сходит с тропинки, нагибается и шарит руками в буреломе. Он разыскивает лучину, которую еще утром нащепал для костра, и никак не может найти ее. Вероятно, он забыл место, но сознаться ему в этом, как старому охотнику, особенно перед своим всегдашним соперником – сотским, не хочется, и я слышу, как он, не выпуская изо рта короткой трубки, ворчит что-то про «злодиев» и «бисовых сынов».

Сегодня мы разложим в лесу костер и около него вздремнем часа три-четыре, до той поры, когда начнет чуть-чуть брезжить рассвет. К заре мы уже должны быть в «будках», чтобы не прозевать первого тетеревиного тока.

Сотский Кирила и Талимон – мои всегдашние спутники по охоте. Кирила – высокий, костлявый и весь какой-то развинченный мужик. У него худое, желтое лицо, впалые щеки, плохо выбритый острый подбородок и огромный лоб, по обе стороны которого падают прямые, длинные волосы; в общем, его голова напоминает голову опереточного математика или астронома. На нем надет поверх кожуха войлочный «латун», уже старенький, но чистый и франтоватый, – правая сторона у латуна коричневая, а левая – серая, и все швы оторочены красным шнурком. Баранью шапку, отправляясь на охоту, Кирила надевает набекрень так, что она закрывает ему один глаз, и тогда вся деревня знает, что «сотник иде на пановку».

Кирила служил «в москалях», был под Плевной и получил Георгиевский крест, – за что получил? – добиться от него толком невозможно. Из его же собственного рассказа выходит только, что «як турци нас забрали в плен, то разом узяли с нами и майора Птицына, а потом, як мы вси стали утекать, то майора Птицына турци забили геть до смерти...». В настоящее время он уже десятый год подряд служит по выборам сотским, получает за это восемь рублей в год, исполняет свои обязанности с неугасаемым «административным восторгом» и в душе чрезмерно преувеличивает размеры облакающей его власти. Арестанты из его села отправляются до следующего этапа не иначе, как со связанными назад руками, между которыми продета длинная веревка; за каждый из концов этой веревки держатся конвоирующие двое мужиков, что придает всей процессии внушительный и комический вид. Сотский ведет очередь, кому из хозяев идти на какие общественные работы, и хотя уверяет, что у него на это есть какая-то «ханстрикция», но, кажется, руководствуется при распределении наряда более симпатиями, заключенными за чаркой, нежели указаниями таинственной инструкции. Он до некоторой степени предводительствует общественным мнением, и по праздникам в толпе, собравшейся на лужайке около монопольного забора (эта лужайка – своеобразный сельский клуб), особенно громко раздается его голос. До моего окна доносятся неизменно одни и те же зазорные фразы: «Я ему докажу»... «Закон не позволяет»... «Як мене поставили начальством»... Пьян он бывает редко, но, выпивши, безобразничает. Тогда он ходит непременно по самой середине улицы и требует, чтобы перед ним снимали шапки. «Що ж ты? Не бачишь, шо начальство иде?» – кричит он, подпираясь руками в бока. В эти пьяные минуты случается, что ему приходит в голову какая-нибудь сумасбродно-административная затея, например, отдать приказ, чтобы завтра же все село выезжало строить новый мост через Горынь, и с неперемным условием окончить постройку к вечеру. Крестьяне ему не противоречат, отлично зная, что на другой день сотский даже и не вспомнит о своем вдохновенном предприятии. Кирила ужасно любит разговаривать со всяким начальством. При этом разговоре он от излишнего усердия

вихляет всем туловищем, подергивает бедрами и отчаянно жестикулирует большим пальцем правой руки, оттопыренным в сторону от остальных пальцев, сжатых в кулак. Многословная его речь так и пестрит кудреватыми выражениями, вроде: «какая разница!»... «окончательно совсем»... «без никакого внимания». Титулы, которыми он величает исправника и станового, всегда разнообразны и нелепо преувеличены. Если же в присутствии властей сотскому придется вести разговор с лицом, ему самому подчиненным, то хотя голова сотского и обращена к этому подчиненному, но глаза устремлены все время на власть с заигрывающим выражением, а в тоне его слов слышится угодливая пренебрежительность, – дескать, видите, пане, какая мужицкая необразованность и как мы с вами все это хорошо и тонко понимаем...

В комнатах с ним разговаривать неудобно, потому что он кричит, как на пожаре (голос у него – фальцет, – осипший и надсаженный), тотчас же перебивает всякого, кто при нем заговорит, сам тараторит без умолку и ничего не слышит, кроме своих собственных витиеватых фраз. Дома у себя и с крестьянами он гораздо проще, естественнее, но с начальством и с господами почему-то считает необходимым быть как можно бестолковее и при первом же удобном случае охотно впадает в роль шута. Начальство, кажется, любит его, но при каждом проезде не преминет собственноручно прибить, о чем Кирила потом рассказывает со всеми признаками хвастливого удовольствия: «От ян мини врядник в пыку запалил! Беда!..» Получив служебную бумагу, он, прежде чем ее распечатать, со значительным видом надевает на нос огромные, круглые прадедовские очки в роговой оправе и затем уже, наморщив лоб и сжав губы, рассматривает документ, держа его нередко вверх ногами. Конечно, эти внушительные приемы никого не обманывают, потому что всякому известно, что ни в Зульне, ни в Крешеве, ни в Яблонном, с его окрестностями, ни один человек не умеет читать, кроме бывшего шинкаря Лейбы Фикуса, к которому потом сотский и отнесет бумагу для прочтения.

Кирила – недурной стрелок, но охотник – несчастливый, а главное дело, хвастун. Отправляясь на охоту и заломив шапку набок, он кричит на весь лес и божится, что сегодня уж наверняка принесет домой полную сумку, а сумка у него чудовищных размеров. При промахе он сначала с изумлением смотрит на ружье, пожимает плечами, и в недоумении спрашивает: «Що це таке с моей стрельбой зробилось?»

– потом идет на то место, где сидела дичь, и тщательно разыскивает перья или следы крови. Если же ему случится убить что-нибудь, то он несет дичь на ксендзовский двор или к органисту и продает там. Каждый раз после охоты он доводит меня до калитки и, сняв шапку и склонив просительно набок свою водевильную голову, говорит заискивающим, тихим голосом:

– Паньчу, а як бы вы сотнику пожаловали на крючок водки?..

Талимон – человек другого склада. Он совсем плохой хозяин, и его хату можно безошибочно найти, потому что она самая худшая во всем селе: дрань на крыше дырявая, еле держится, стекла в окнах почти все повыбиты и заменены тряпками, стены ушли в землю и покосились. Кожух у Талимона испещрен заплатами и разодран под мышками, из шапки кое-где повылезли клочья ваты, но вся одежда сидит на нем хорошо, почти изящно. Он невысок ростом, поджар и очень ловок в движениях. Все его лицо от самых глаз заросло волосами; черные усы сливаются с черной бородой, короткой, но чрезвычайно густой и жесткой. Под широкими черными бровями глубоко сидят большие круглые черные глаза, которые смотрят сурово, недоверчиво и немного испуганно: я это странное выражение не раз подмечал у людей, проводящих большую часть жизни в лесу. Голос у Талимона глуховатый, носового тембра, не лишенный приятности, но говорит он редко и мало, – тоже как все лесные люди. Смеется он еще реже, но зато улыбка совершенно изменяет его лицо: оно вдруг становится таким ласковым и добродушным, что на него просто залюбуешься.

Талимон скромн, застенчив и уступчив. Он ни про кого не отзывается дурно, разве только если при нем похвалят плохого охотника, то он слабо и презрительно махнет рукой. Про свои охотничьи успехи он никогда не говорит без особенного повода, но рассказ его, при

всей суровой сжатости, всегда занимателен и картинен. Когда сотский с криком и нелепыми телодвижениями начинает руководить порядком охоты, Талимон не возражает ему, а делает по-своему, что выходит гораздо лучше и чему сотский беспрекословно подчиняется, приписывая, однако, успех охоты своим распоряжениям.

У Талимона есть одна дорогая и трогательная общественная черта: он охотно берет на себя самые неприятные, хлопотливые обязанности и безропотно становится на охоте на худшие места. Он первый лезет по пояс в болото, первый переправляется по жидкому весеннему льду, строит шалаши, разводит костры, чистит ружья... Здоровье у него плохое. Часто, идя вместе на охоту, я слышу его кашель, такой странный, отрывистый и сухой, что я долго не мог к нему привыкнуть: все мне казалось, что Талимон чему-то внезапно рассмеялся, и я с любопытством оборачивался в его сторону. Я думаю, что у него наследственная чахотка и что он не проживет долго, особенно при его молчаливой, упорной страсти к спиртному. Если же кашель начинает его мучить чересчур сильно, тогда Талимон приходит ко мне за лекарством. Лекарство это, изобретенное едва ли не самим Талимоном, состоит из большой рюмки водки, куда я капаю четыре или пять капель французского скипидару. «А ну-ка, паньч, дайте мини трошки тэрпэтыны... що-сь у меня в грудях заложило», – говорит он в этих случаях, после нескольких минут нерешительного колебания на пороге моей комнаты. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что, если бы я предложил Талимону принимать скипидар на воде, я бы рисковал потерять навсегда единственного своего пациента.

В хозяйственном быту Талимон лентяй, каких свет не создавал. Вместо самого необходимого домашнего дела он предпочитает целые сутки бродить по лесу с ружьем за плечами. Когда его тринадцатилетняя дочь Варка вместе со своим братишкой Архипом вспахивают кое-как, неумелыми слабыми руками, жалкий клочок поля, Талимон только смотрит на них с завалинки, равнодушно покуривая трубку, околоченную медью.

Оба они – и сотский и Талимон – стреляют из таких ружей, каких я более нигде не встречал: фунтов по пятнадцати весом, около вершка калибром, с самодельными ложами и чудовищной отдачей, способной свалить на землю телеграфный столб. Эти редкие предметы достались им по наследству, и оба охотника не согласятся променять их ни на какую централку.

– Теперь такой «стрельбы» не могут сделать, – говорит иногда Талимон, любовно поглядывая на свой аркебуз. – Это «стрельба» настоящая, бо она ще за Катерыну Великую зроблена. О!..

И надо видеть, с каким многозначительным видом подымается кверху черный палец Талимонов при этом: о!

У них обоих есть собаки – отдаленные ублюдки гончих, у Кирилы – Сокол, а у Талимона – Свирьга. Собаки, надо отдать им справедливость, прескверные, но меня они интересуют в том отношении, что на них до смешного отразился характер их господ. Рыжий Кирилов Сокол, едва почуяв заячий след, бросается бежать по прямой линии и громким лаем дает знать о себе зверю за целую версту. На убитого зайца он тотчас же накидывается и начинает его с ожесточением пожирать, и отогнать его удается, только пустив в ход ружейный приклад. Подходя на зов к человеку, Сокол волнообразно изгибается туловищем, крутит головой, подобострастно взвизгивает, лихорадочно машет хвостом и, наконец, дойдя до ваших ног, переворачивается на спину. Куски, которые ему дают, он вырывает из рук и уносит их куда-нибудь подальше. Взгляд у него напряженный, заискивающий и фальшивый.

Свирьга – маленькая черная гладкая сучка, с остренькой мордочкой и желтыми подпалинами на бровях. Зверя она гонит молча, «нышком», как говорит Талимон. Нрав у нее нелюдимый, нервный и довольно дикий; ласк она, по-видимому, терпеть не может. Она страшно худа. Талимон ее никогда не кормит, потому что, по его мнению, «пес и жинка мусят сами себя годувать», то есть должны сами себя пропитывать. Собака относится к хозяину с полным рав-

нодушием, но я знаю, что, несмотря на эту кажущуюся холодность, Свирьга и Талимон сильно привязаны друг к другу.

Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло солнце, небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая стена казенного хвойного леса отчетливо рисовалась грубым, темным силуэтом, а кое-где торчавшие над ней прозрачные круглые верхушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе легкими штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката незаметно для глаз переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы... Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, каждая веточка, с той мягкой и приятной ясностью, которую можно наблюдать только раннею весной, по вечерам. Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый жук и как он, сухо щелкнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. Кое-где сквозь чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болотец. Лягушки заливались в них своим торопливым, оглушительным криком; жабы вторили им более редким, мелодическим и грустным уханьем. Изредка над головой пролетала с пугливым кряканьем утка да слышно было, как с громким и коротким бляньем перелетает с места на место бекас-баранчик. Высыпали первые звезды, и никогда их мерцающее сияние не казалось мне таким золотым, таким чистым, кротким и радостным.

– Стойте, паныч... заждит трошки, – сказал вдруг Талимон, присев на корточки сбоку дороги. – Сдается, здесь и заночуем...

Действительно, из-под густой сосновой ветки он вытащил охапку лучины, загодя наколотой им из старого смоляного пня. Я дал ему спичку, и сухое сосновое дерево тотчас же вспыхнуло ярким, беспокойным пламенем, распространяя сильный запах смолы. Затем он навалил сверху лучины сухой прошлогодней желтой хвои, которая сразу задымилась и затрещала. Сотский не утерпел, чтобы не вмешаться.

– Ат! – крикнул он с досадой. – Ничего не умеешь сделать. Пусти меня. Талимон сейчас же уступил ему свое место и только с застенчивым видом вытер нос рукавом латуна.

Но у сотского дело не спорилось, и начавший было разгораться костер чуть-чуть совсем не потух.

– Что же ты не помогаешь... стоишь, як пень! – крикнул он с сердцем на Талимона.

С помощью Талимона, притащившего кучи хвороста, костер разгорелся веселым, шумным огнем. Я в это время доставал из сумки провизию, к большому удовольствию сотского, провожавшего глазами каждый предмет, появлявшийся из нее. Талимон из деликатности делал вид, что не замечает моих движений. Я предложил им водки. Сотский торопливо принял из моих рук серебряный стаканчик, гаркнул своим сиплым фальцетом: «За ваше здоровье, ваше выскородие», опрокинул залпом водку в рот, а воображаемые остатки лихо выплеснул себе через плечо. Талимон – хотя я видел, что ему хочется выпить не меньше сотского, – сначала немного поцеремонился.

– Пейте, пейте, паныч, – уговаривал он меня таким ласковым тоном, как будто хотел сказать, что ему ничего, он как-нибудь потерпит, обойдется, но что мне не выпить никак нельзя. Я настаивал. Сдавшись наконец и взяв стаканчик, он снял шапку и несколько секунд нерешительно глядел на водку; потом слегка кивнул мне головой и промолвил: «Ну! Будьте здоровы, паныч», – и с видимым наслаждением выпил. После этого оба мои спутника отрезали по толстому куску свиного сала, надели его на шомпола и сунули в огонь. Поджариваемое сало заворчал и, растапливаясь, капало в огонь синими горящими каплями. Раскаленные угольки с треском выпрыгивали из костра и, описав в воздухе искристую дугу, падали за нами. Становилось жарко. Мы разлеглись поудобнее, ногами к огню, головой наружу, и долго все трое возились, уминая под собой место и выгребая сухие веточки и сосновые шишки, мешавшие

лежать. Потом все притихли и молча глядели на пламя, охваченные тем непонятным, тихим очарованием, которое ночью так властно и так приятно притягивает глаза к яркому огню.

Над костром вдруг низко и прямо пролетела большая серая птица, медленно махая крыльями и жалобно пища. Мы проводили ее глазами, пока она не утонула во мраке.

– Это канюка, – сказал Талимон, поправляя ногой полено, выбросившее от толчка густой сноп искр.

– Что такое? – переспросил я.

– Канюка, ваше благородие... такая птаха! – закричал сотский и весь заерзал на своем месте. – Звесно, так мы ее называем – канюка... То есть ей, значит, такое название – канюка.

– А паныч знает, чего она так кричит? – спросил с легкой усмешкой Талимон.

– Нет, не знаю... Почему же?

– Не могу сказать: чи правда тому, чи нет, а только старые люди кажут, что ее господь проклял.

– Ат! – пренебрежительно мотнул головой сотский, – очень нужно панычу твои байки слушать... Какая разница...

– Нет, отчего же, – возразил я. – Расскажи, пожалуйста, Талимон. Это очень интересно.

– Что ж... ведь не я ее выдумал... старые люди говорят, – обратился Талимон к сотскому, точно оправдываясь перед ним. – Бачите, паныч, як это дело вышло, – продолжал он более спокойно. – Случилось один раз... давно это было... может, сколько сот лет тому назад... случилось как-то, что зробилась на земле великая суша. Дождь не падал целое лето, и все речки и болота повысыхали... Птицы первые зажурились... Звесно: птаха пьет хоть и помалу, але вельми часто и без воды ей кепсько... Вот и стали птицы просить у господа бога: «Дай ты нам, господи боже, хоть трошки водицы, а то мы без нее все, сколько нас есть, скоро поумираем». Сжалился над птицами бог и говорит им: «Хорошо, дам я вам воды. Соберитесь все вы, сколько вас есть, в одно место и ройте землю, и как докопаетесь до воды, тогда и напьетесь... на всю вашу братию пока что хватит...» Как услышали эти слова птицы, зараз слетелись в одно место... в лес, скажем, чи в долинку... и давай копать лапками землю. Все птицы собрались: и бузько, и книга, и шуляк, и крук, и ворона... роют, роют, одно перед другим старается... Только одна канюка ничего не хочет делать. Сидит и смотрит, как другие работают, да перышки свои перебирает. Увидел это господь бог и спрашивает: «Отчего же ты, серая птаха, не хочешь слушать моего приказа? Разве ты не чула, как я всем птицам велел копать криницу?» А канюка отвечает господу богу: «Как же, господи, буду я копать криницу? Бачишь, якие у меня ножки гарненькие! Боюсь я их испачкать землю, не стану я копать криницы». А ножки у нее, панычу, и правда, гарненькие, желтенькие такие. Да... Рассердился тогда господь бог на канюку и сказал: «Будь же ты, серая птица, проклята отныне и до века!.. Пусть теперь и ты, и весь род твой не смеет пить воды: а ни из речки, а ни из ривчака, а ни из болота, а ни из криницы или става, ни из стоячей воды, ни из текучей. А только позволяю я тебе пить воду после дождя с зеленого листика...» Вот с тех пор летает эта самая птица и кричит, а наиболее летом... Хочется ей пить, а напиться нельзя. Подлетит к речке – речка ей воды не дает, подлетит к лужице – и та перед ней расступается. Так она от воды до воды и летает, и все канючит... жалостливо так, вот как сейчас, паныч, слышали... За это самое, что она канючит, ее и называют канюкой... И это верно, паныч, – закончил он убежденным тоном, – я сам бачил, как она сидит около речки, а кричит... Хочется ей пить, да, видно, господне проклятие крепче... Вот так-то...

– Ат!.. Байки! – отозвался сотский.

– Так что же, что байки? – заступился я за Талимона. – Байку тоже занятно послушать. Ночь длинная... торопиться нам некуда.

Кирила тотчас же с обычной неустойчивостью и бестолковостью переменил мнение.

– Ну да... воно так, – захихикал он угодливо. – Я ж понимаю, что панычу любопытно... Паныч думает, я не понимаю? Я усе понимаю. Звесно, что старые люди больше нашего знают... Я ж могу понимать!..

Мы притихли. Вдруг Талимон быстро приподнялся на локте и, сдвинув брови, острым неподвижным взглядом уставился в лесную чащу.

– Кто-то идет, – сказал он вполголоса. Сотский тоже приподнялся и повернул голову по направлению взгляда Талимона. Я, как ни напрягал внимание, ничего не мог расслышать за треском разгоревшегося костра.

– Кто там иде-ет? Что ты бреше-ешь? – протянул насмешливо Кирила.

– Тихо! – махнул на него рукой, не оборачиваясь, Талимон. Действительно, его не обманул тонкий охотничий слух. Через минуты две или три послышался легкий треск сухих веток под чьими-то ногами, и из чащи точно вынырнула высокая фигура мужика в новом кожухе и картузе.

– Помогай бог! – сказал он глухим, сильно простуженным голосом и слегка приподнял картуз.

– Здорово! – ответили разом Талимон и Кирила, прикоснувшись к своим шапкам.

– Ишел я по лесу и вижу ваш огонь, – продолжал пришедший, присаживаясь на корточки. – Дай, думаю, посмотрю, что за люди... Скучно одному.

– Седайте, – проговорил из вежливости Талимон, несмотря на то что гость уже успел усесться.

Этого мужика зовут Александром. Мне никогда не доводилось с ним разговаривать, но я нередко видел его и особенно много о нем слышал благодаря той простой и в то же время тяжелой крестьянской драме, которая на глазах всей деревни разыгрывалась в его семье. Два года тому назад его жена Ониська – хорошенькая, но распутная и глупая бабенка – вернулась из ближнего городка, где она служила в разных местах за кухарку. Вернулась она в деревню не по своей охоте. Уже давно до Александра доходили слухи, что его жена ведет себя нехорошо, путается со всеми городскими господами и с их мужской прислугой и что даже проезжие посылают «из номерей» мишуреса за Ониськой. Александр не раз являлся в город, отнимал у жены все зажитые ею платья и вещи и рубил их в мелкие кусочки на пороге, а жену избивал и уводил в деревню. Но она улучала минуту и тайком сбегала опять в город. В последнее время ее «водворила на место жительства» полиция, к содействию которой обратился – не знаю уж, по чьему совету – Александр.

Вместе с городским гардеробом Ониська привезла с собою легкость городских нравов и презрение к деревенской необразованности. Держала она себя с соседями заносчиво, употребляла в разговоре никому не ведомые слова, ела в пост скоромное и даже в одно воскресенье – смешно сказать – явилась в церковь с синим пенсне на носу, за что Александр получил от священника, отца Анатолия, строгий выговор.

Поведение ее не стало лучше в деревне. Она таскалась сначала с сыном волостного писаря, потом с конторщиками соседнего лесного имения, потом с помещичьими кучерами, и, наконец, в настоящее время ее постоянным кавалером сделался вольнопрактикующий фельдшер Кацейовский, вертлявый и наглый человек с темным прошлым, лечивший с одинаковым неуспехом и лошадей, и коров, и баб с их ребятами. Знал ли обо всем этом Александр – трудно сказать. Он никогда не отличался общительностью, а за последний год стал еще больше сторониться от людей, но с лица его не сходило угрюмое выражение упорной, затаенной мужицкой тоски. Глядя на него, крестьяне покачивали головами и со свойственным им безошибочным инстинктивным чутьем говорили:

«Не добром кончится это дело... що-сь буде промеж Онисьи с Александром...»

– Ты коней, что ли, пасешь? – спросил несколько минут спустя сотский. Александр, неподвижно глядевший в огонь, вдруг встрепенулся, точно его внезапно разбудили.

– Я-то? – протянул он, с усилием отрываясь от огня и, по-видимому, стараясь понять, о чем его спрашивают. – Коней, ты говоришь? Да, да, коней.

– Оно действительно... теперь злодией как раз подкрадется, – поучительно заметил Кирила.

Александр опять устался на огонь. Я взгляделся пристальнее в его большое, носатое, изрытое оспой лицо, и меня поразило его равнодушно-тоскливое выражение. И поза, в которой он сидел, сгорбившись, с головой, ушедшей в плечи, охватив обеими руками острые колени, показалась мне усталой и беспомощной. Самый голос у Александра был какой-то жалкий, пришибленный и до странного глухой, как будто бы он раздавался сквозь закрывавшую рот мягкую подушку. Пламя костра трепетало с бурным ропотом, а на лицах трех крестьян бежали длинные дрожащие тени от носов и глазных впадин. Когда же огонь вспыхивал особенно ярко, эти лица принимали медный оттенок, а в глазах ярко загорались красные точки.

Около костра было тепло, светло и уютно, но там, дальше, куда не достигал освещенный колеблющийся круг, там ночь стала непроницаемо черной, и временами до нас доносилось ее холодное, сырое дыхание. Обступившие нас вокруг деревья слились в одну сплошную, темную – темнее ночи – живую толпу, точно со всего леса сбежались сюда ночные тени и с любопытством глядели сверху, покачиваясь и перешептываясь. Иногда на мгновение выделялся из этого заколдованного круга голый прямой ствол сосны, внезапно облитый красноватым светом, но тотчас же пугливо прятался в густую толпу ночных призраков. Я лег на спину и долго глядел на темное, спокойное, безоблачное небо, – до того долго, что минутами мне казалось, будто я гляжу в глубокую пропасть, и тогда у меня начинала слабо, но приятно кружиться голова. А в душу мою сходил какой-то томный, согревающий мир. Кто-то стирал с нее властной рукою всю горечь прошедших неудач, мелкую и озлобленную суету городских интересов, мучительный позор обиженного самолюбия, никогда не засыпающую заботу о насущном хлебе. И вся жизнь, со всеми ее мудреными задачами, вдруг ясно и просто сосредоточилась для меня на этом песчаном бугре около костра, в обществе этих трех человек, несложных, наивных и понятных, почти как сама природа. Станный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание: точно вдали кто-то вздохнул во всю ширину необъятной груди... Даже трудно было определить, с какой стороны послышался этот звук: он пронесся по лесу низко, над самой землей, и стих.

– Птаха яка-сь, – заметил вполголоса Александр.

– Сова! – решил тотчас же уверенно сотский.

– Нет, это не птаха, – задумчиво отозвался Талимон. – Господь его знает, что оно такое... Трапляется это часом в лесу, когда ночь тихая...

– Трапляется, трапляется, – с задором передразнил сотский, – а что трапляется, и сам не знает... Ну, что такое трапляется?

– Разное бывает... – мягко и уклончиво возразил Талимон. – Лес у нас великий, в инышее место никто не заглядает, даже лоси и волки... Одному богу звесно, что там ночью робится... Старые полесовщики много чего бают, потому что они целый день в лесу да в лесу... все видят, все слышат... Да что ж? – обвел он нас глазами.

– Я и сам многое слышал...

– Ты слышал... Много ты слышал!..

– А что ж? – с добродушной настойчивостью продолжал Талимон. – Вот и слышал. Бывает часом так, что идешь примерно в ночной обход. Тихо так в лесу... аж листик не колыхнет... А вдруг как зарегочет що-сь, как зарегочет... чудно так... не то человек смеется, не то конь ржет, не то заплакал кто-то.

– Ат!..

– А вот еще однажды слышал я в ночь на светлое воскресенье, как печаловский колокол звонит. Что ж, скажешь, может быть, неправда тому? – укоризненно обратился Талимон к сотскому.

– Нет, это правда. Печаловский колокол звонит, я это знаю, – подтвердил своим глухим голосом Александр.

Я заинтересовался: что такое означает звон печаловского колокола? Сотский в ту же минуту завозился туловищем, ногами и руками и закричал так громко, что по лесу побежало эхо:

– Что вы их слушаете, паныч! Они вам с три короба наговорят. Ат! Бабья брехня... Не слушайте их, ваше благородие.

Но я гораздо энергичнее, чем прежде, попросил сотского молчать. Талимон принялся рассказывать, но сначала немного стеснялся и все озирался на своего противника. Александр по-прежнему тупо и печально глядел на огонь, не изменяя своей жалкой позы. Время от времени он коротко кивал головой и приговаривал: «Да, да... это верно... это так». Сотский с умышленной небрежностью повернулся спиной к рассказчику.

– Это тоже, паныч, дуже старое дело, что я вам хочу рассказывать, за той самый печаловский колокол. Случилось оно еще в те годы, окоче была у нас панщина. Давным-давно... лет... може быть... (он задумался и вопросительно посмотрел на меня). Лет триста аль бо четыреста будет?... А мабудь, и больше? Не могу сказать, не знаю, бог его знает, сколько лет... Собирались один раз казаки в поход. Шли они тогда войной на турецкого султана. И вот стали они прощаться со своими... Журьба по всему селу, плач такой великий... аж стон стоит!.. Тот с батькой своим расстается, с маткой старой, того сестра провожает... Но наибольше голосили дивчата. Звесно, у каждой был в войске свой зарученный... И уж эти бабы завше одинаковы. Сама плачет, як река разливается, а все ж таки не утерпит на ухо шепнуть: «Будешь ты, Грицко, аль бо там Павло чи Юрко, будешь вертаться назад из Туреччины, привези мне памятку какую-нибудь, чи перстенок, чи наместо, чи хустку червонную...»

Был в том селе казак, по имени Опанас: гарный хлопец, веселый и шворный такой, але ж только совсем бедный, як собака. Всего у него богатства только и было что на нем. Служил Опанас за наймита у мельника. А у мельника была дочка, такая красивая дивчина, что лепше ее на всю округу не было. Полюбилась эта мельничиха Опанасу; так он ее полюбил, что только из-за нее одной и жил на млыне, потому что старый мельник был человек гордый и скупой, кормил наймитов плохо и даже за людей их не считал... И дочка его такая ж была. Знала она, что Опанас ее крепко любит, но только над ним смеялась. Как услышал Опанас, что идут казаки на войну, стал и он собираться... Вот пришло время и в поход выступать. Приехал Опанас в опушний раз на млын, прощается, бидака, со своей любой. А ей ничего, только смеется с него. «Привези, каже, мне из турецкой земли такое наместо, чтоб такого еще ни у кого не было, чтоб все молодичи и дивчины – и Гапка, и Катерына, и Пруська, – чтобы все они с зависти пожелтели. Тогда, говорит, может, и пойду за тебя замуж. Да помни одно: если твое наместо хоть из золотых дукатов будет, я и то его не приму, а брошу его тебе в твою наймичью пыку. Бо такое наместо я вже у одной проезжей пани бачила».

– Ах ты, стерва! – не утерпел наконец сотский и быстро повернулся лицом к рассказчику. – Я бы ей самой в пыку за такие слова дал!..

Сотский, хотя и старался до сих пор подчеркнуть свое невнимание к рассказу, но, очевидно, слушал его с захватывающим интересом, несмотря на то что, наверно, знал его наизусть с самого детства. Он, как многие крестьяне, новым байкам предпочитал старинные, давно ему привычные, уже освоенные и усвоенные его тугим, коротким воображением.

– Да. Так она ему и сказала, – продолжал Талимон, заметно польщенный и подбодренный искренней выходкой сотского. – «Привези мне, говорит, такое наместо, какого еще никто и не бачил». – «Хорошо, – говорит Опанас, – хорошо, привезу я тебе такое наместо!»... а сам вельми рассердился, – даже прощаться с нею больше не стал, – вскочил на коня и поехал догонять товарищей.

В ту пору, как шли казаки походом, подружил Опанас с одним казаком, Левком, – так подружил, что просто они друг без дружки жить не могут, а напоследок даже крестами поменялись. «Будь ты мне, – говорит Опанас, – за родного брата. Куда ты, туда и я. Будем везде стоять друг за дружку и выручать от всякой беды». Наконец пришли наши казаки и в Туреччину. Долго они там сражались. Сколько сел и деревень попалили, сколько скота угнали, сколько ихних церквей разорили... а поганых турок так богацько набили, что даже счет потеряли... золотые монеты забирали прямо жменями, аж казацкие кишени не могли выдержать, лопались... И везде Левко вместе с Опанасом: и турок вместе бьют, и кашу из одного горшка едят, и спят под одним козухом...

Завоевали один раз казаки самый великий турецкий город – Константинов, и стали тот город разорять. Опанас с Левком забрались в бо-огатый-пребогатый палац и давай хозяйевать в нем, как в своей хате. Набрали дукатов золотых, посуды разной срибной, дорогих каменьев... Вдруг бачат: лежит в щекатунке намисто, и так-то блещет намисто, что аж глаза колет. Левко с Опанасом разом хватъ за намисто!.. Один каже – мое, другой говорит – мое. Слово за слово, стали лаяться казаки. Дальше больше, – вынул Левко шаблюку, вынул и Опанас свою шаблюку. Начали биться. Бились час, бились другой: пересилил-таки Опанас Левка, и отрубил своему названому брату казацкую голову, и взял себе то гарное намисто...

Никому он не сказал из товарищей, что убил Левка, а намисто сковал у себя на груди, под свиткой, чтоб никто его не заметил. Так все и подумали, что пропал Левко без вести, чи взяли его в плен, чи зарезал его где-нибудь поганый турка. Вскорости повернули казаки до дому – уж больше года прошло, как они выехали в поход. Поехал с ними и Опанас. Только совсем не такой поехал, как из дому выезжал. Тогда был веселый такой: все песни спевал да жартовал с товарищами, а теперъ едет тихий, сумный, песен не поет, не говорит ни с кем и все – нет-нет – рукой лапает за грудь, где у него спрятано намисто.

На страстной неделе вступили казаки на русскую землю. Едут они однажды вечером и видят в степи огонь. «Вот здесь, говорят, и заночуем». Подъехали, глядят – цыганский табор. Ну, что же? Хоть и цыгане, а все же таки подорожные люди. Говорят им казаки: «Слава богу!» Те им отвечают: «Вовеки слава». Просят седасть. Сели наши казаки, вынули из сумок хлеб, соль, цибулю... стали вечерять, послали за горилкой, – тут корчма близко оказалась. Пьют и цыган частуют. Только одна молодая цыганка – красивая такая – заметила, что Опанас все за грудь тремается, и пытается в шутку: «Что у тебя, хлопец, на груди скрыто? Может, намисто везешь своей дивчине?» Испугался Опанас, аж весь затрусился. «А ты почему знаешь? Нема у меня никакого намиста. Отчепись ты от меня, ради бога». Цыганка еще больше смеется. «Чего же ты, говорит, злякался? Или ты кого зарезал за то намисто, що так побелел?» И пристала эта цыганка к Опанасу: «Пойдем со мной в мой намет... Я тебя вином угощу добрым, и постель тебе постелю, и сама с тобою ляжу...» Говорит она так, а сама на Опанаса дивится; очи у нее черные, блескучие, а лицо темное, а зубы белые, как цукар. Послушался казак, пошел с ней в намет, сел... Подает она ему великую чару. «Пей!» – каже. Выпил он одну, цыганка ему зараз другую наливает. Выпил другую Опанас и пытается: «А что же ты сама не пьешь? Меня поишь, а сама не пьешь?» Усмехнулась цыганка, однако выпила трошки; только, как выпила, сейчас же воды хлебнула. Казак спрашивает: «Ты для чего же воду пьешь» – «А это у нас, говорит, свычай такой... нам иньше по нашей вере не можно»... И наливает еще одну чарку. Как выпил Опанас третью чару, помешалось у него все в голове, обомлел он и упал, как неживой. Чует он, что кто-то мацает его за грудь и свитку раскрывает, а поворохнуться не может: точно ему руки и ноги веревками повязали...

Проснулся наутро Опанас и первым делом лап-лап по-пид свиткой: нема намиста! Он к товарищам: «Где цыгане?» А тех цыган уже давно и звания нема, еще до солнца поднялись, погыгортали-погыгортали что-то по-своему и всем табором подались на полдень. «Нет, –

думает казак, – я ей, бисовой дочке, моего наместа не подарю». Вскочил на коня и поехал вдогонку за цыганами.

Едет он мило, другую, десять миль, и все людей пытается: «А что, добрые люди, не видали вы, не проходил ли здесь цыганский табор?» – «Как же, говорят, видели: вот только-только перед тобой проехали по шляху». Опять едет казак, погоняет коня со всех сил, а догнать никак не может, и везде ему люди кажут: «Бачили мы цыган, всего только час какой назад, вон в ту сторону потянули». А тем временем вечер зашел, стало темно. А когда казак через Печаловку проезжал, то уже дело подходило близко полуночи. Стал он и в Печаловке пытаться: «Бачили цыган, добры люди?» – «Бачили, кажут, езжай скорийше, они еще двух верстов не успели сделать».

Только что опять выехал Опанас в поле, видит – стоит церковь, а в церкви малый огонек чуть-чуть мигает. Посмотрел Опанас и думает: «А ведь нынче у людей страстная суббота, и сейчас настанет Христово воскресение. Бог весть когда я еще до церкви доберусь. Треба зайти хоть лба перекрестить». Слез с коня и зашел в церкву. Звесно, так себе зашел, ба у него на душе совсем не молитва была. Зашел он в церкву и видит, что там всего только одна свечка горит перед иконой божьей матери, а людей в церкви нема. Даже сторож и тот куда-сь на минутку вышел. Подошел казак к образу, да так и захолил. Смотрит он, а у божьей матери округ сияния надето наместо, аккурат такое, как у него цыганка украла, только еще краше. Всего одна свечечка в церкви, а наместо так и горит, так и горит, – аже в глазах больно... А коло образа, как на грех, лесенка маленькая приставлена... Звесно, что все это дело злой нарбил. Потом оказалось, что и цыгане те, что наместо украли, совсем не цыгане были, а мара.

Обернулся Опанас в одну сторону, в другую... видит – никого в церкви нет. Влез он на лесенку и протянул руку. И ледве он доторкнулся рукой до наместа, – загремел гром, заблискала блискавица и вся церковь, как стояла, так и провалилась скривь землю... Сбежались из села люди, смотрят, а на месте церкви стоит великое озеро, а в озере колокол звонит...

– Да... это верно... это так, – тихо заметил Александр.

– И с той самой поры, – продолжал в торжественном тоне Талимон, – с той самой поры каждый раз в светлое воскресенье слышат люди звон из того озера. То звонит колокол в потонувшей церкви. И это все правда... я сам чул один раз. Не так чтобы вельми громко, но як притулить ухо до земли, то совсем добре чутно.

Талимон замолчал, выбросил из костра уголек и, перекинув его несколько раз с ладони на ладонь, стал раскуривать свою короткую трубку. Я спросил, что случилось потом с жестокой мельничихой. Талимон сплюнул в сторону.

– Этого уж я не знаю, паныч. Чего не знаю, того не могу казать. За Мельникову дочку я больше ничего не чул.

– А что же с ней зробилось? Погубила, трясца ее собачьей матери, христианскую душу, и все тут, – с горькой злобой вставил Александр. – Нет на свете ни одного такого поскудного гада, як баба!..

– Все хороши: и бабы и чоловики, – равнодушно сказал Талимон. Александр вдруг как-то разом заволновался.

– Нет, ты этого не говори, Талимон... Это ты напрасно так говоришь, – заторопился он, суетливо и неловко тыча перед собою руками, – хоть мы, чоловики, и пьем, и своримся, и воруем часом, але все же таки мы бога не забываем... А баба? Або она что понимает? Або она что чувствует?..

– Это ты правильно, – поддакнул сотский. – У бабы заместо души пар, як у собаки. Это даже в двенадцати викториях сказано.

– Чи пар, чи другое шо, я уж за то не знаю, – нетерпеливо отмахнулся от него Александр. – А только я одно скажу, что всякая шкода, всякая швара – все через них робится. Как в святых книгах сказано? Через кого господь прогнал Адама из раю? Через бабу... Шкодливы,

пакостницы, сокотухи¹. Плетут невесть что... Вот уж это правду сказано: лучше железо варить, чем с злою женою жить.

Вероятно, еще и раньше, до рассказа Талимона про наместо, Александр находился в том состоянии, когда накипевшие в человеке и долго сдерживаемые чувства ищут себе исхода, и тогда достаточно ничтожного предлога, чтобы они прорвались в самой необузданной форме. Видно было, глядя на неожиданную горячность Александра, что теперь ему уже трудно остановиться, раз он начал высказываться. И хотя, по-видимому, он громил всех женщин вообще, но как-то невольно чувствовалось, что все его проникнутые жестокой ненавистью слова относятся к одной Ониське.

– Стыда они в себе никакого не имеют! – продолжал еще возбужденнее Александр. – У суки и у той стыда больше, чем у бабы... Только одна мерзость у нее на думке. А этого ей ничего, что из-за нее чоловіку нельзя на село показаться, что от страму не знаешь, куда голову спрятать.

Мужей бросают, сволочи, даром что в церкви божьей присягали на верность... Хуже кошек они, эти бабы! Кошка хоть к хате своей привычна, а баба ни к чему не привыкнет. Разве ей дети нужны? Муж нужен? Страм ей нужен... Тьфу! – Александр с омерзением плюнул на землю. – Вот что ей нужно!..

– Батога ей треба! – сочувственно и серьезно заметил Талимон. Сотский поддержал это мнение.

– Да и до-оброго батога. Старики кажут недаром: як больше бабу бьешь, то борщ вкуснее.

Но Александр как будто бы не заметил слов сотского. Во все время своей беспорядочной, злобной речи он обращался к Талимону, в черных печальных глазах которого отражалось настоящее сострадание.

– Эх! Або она боится батога? – махнул безнадежно рукой Александр. – Баба как гадюка: пополам ее перерви, а она все вертится. Да и не можно все бить да бить. Ты вот на нее серчаешь, а она подсунулась к тебе теплая да ласая... так, стерва, душу из тебя руками и вынет. Нет, это что ж, бить-то... А вот так зробиць, как Семен Башмур в позапрошлом годе зробиць...

– Ну, брат, этого тоже начальство не одобряет... какая разница! – многозначительно сказал сотский.

– А что такое Башмур сделал с женой? – полюбопытствовал я.

На этот вопрос долго не было ответа, точно каждый из мужиков дожидался, чтобы заговорил другой. Наконец сотский начал медленно и неохотно:

– Жинка его... Башмурова жинка, значит... связалась тут с одним хлопцем... Петро его зовут... он и теперь на селе живет... женился на Покрову. Ну, и застучал он ее один раз с этим с самым Петром в хлеве...

Сотский замолчал, точно ему неприятно было продолжать. Александр и Талимон как-то уж чересчур равнодушно уставились глазами на свои лапти.

– Ну, и что же дальше? – спросил я.

– Да что же? Повалил ее на землю и засунул ей квача² с дегтем в рот... ну, и того... задохнулась! Ат! Да что об этом толковать!.. Ты куда же, Александр? – спросил сотский, видя, что тот встал со своего места и оправляет ремень, стягивающий кожух. – Идешь, что ли?

– Пойду, – коротко ответил Александр, ни на кого не глядя. – Что ж сидеть... скоро утро. Ну, бывайте здоровы...

Пока он был виден, мы все трое провожали его глазами. В его вялой, тяжелой и медленной походке, в очертаниях его натруженной, полусогнутой спины было что-то удрученное, жалкое... Глядя на эту походку и на эту спину, я невольно подумал, что еще долго он будет

¹ Болтуны. Когда кричит сорока, про нее говорят, что она «сокочет». (Примеч. А. И. Куприна.)

² Квач – тряпка, туго свернутая, кляп. (Примеч. А. И. Куприна.)

бродить по лесу со своей одинокой, молчаливой тоской. После его ухода мы долго молчали. Так всегда бывает, если из компании уйдет один человек: пусть даже он молчал все время, но остальные без него несколько минут чувствуют себя неловко, точно от них отняли что-то подогревающее беседу. Сотский первый заговорил:

– А все через свою Ониську человек сохнет... Совсем извела его, подлюка.

– Что ж... не наше это дело, – осторожно, как бы вскользь, заметил Талимон.

– Как это не мое дело? – вскипел сотский. – Ежели, примерно, я начальством здесь состою?.. Какая разница!..

Талимон немного смутился.

– Ну, да... оно так, конечно... а все ж таки...

– То-то вот – «все ж таки». Как это ты мог сказать: не мое делом? А если, упаси господи, беда якая случится?.. Жаль мужика, пропадает ни за грош, – совсем уж другим тоном обратился сотский ко мне. – Трудящий он, старательный человека... И уж чего-чего он ни делал: к попу водил свою Ониську отчитывать, господину вряднику жалобу приносил... ничего пользы нет. Он и к Недильке даже ходил...

– К какой это Недильке? – спросил я.

– А тут, бачите, есть у нас одна ворожка, Недилькой мы ее зовем... так он к ней и ходил... Велела, говорят, она ему поймать кожана³ и сварить его живого, а потом закопать на ночь в муравельнике, чтоб муравли его обглодали до костей. А в тех костях, каже, есть такие маленькие грабельки и вилочка. Як ты, каже, захочешь, чтоб тебя дивчина чи молодича полюбила, то ты только этими граблями проведи ей по спиднице чи по камизельке. А если хочешь, чтобы она тебя разлюбила, то вилами ее торкни легонько...

– Ну что же, и Недилька не помогла?

– Э, какие теперь ворожки! – сделал сотский презрительную гримасу. – Або теперешние ворожки что-нибудь знают? Вот прежние – те действительно много могли. Кровь, зубы заговаривали, отмовляли, если кого бешеная собака укусит или гадюка... узнавали, где злодий вещи спрятал...

– Ну да... Бо им раньше черти воспобляли, – пояснил Талимон.

– А звесно, помогали... У иньшей даже не один и не два, а скольконадцать чертяк служило в наймитах. Ну, а теперь совсем нема чертей...

– Как нема? Куда же они делись? – спросил я, заинтересованный судьбой чертей. Признаться, я не ожидал, да и не мог ожидать хоть сколько-нибудь определенного ответа, но, к моему чрезвычайному удивлению, Талимон и Кирила тотчас же, нимало не задумавшись, ответили в один голос:

– На машину ушли.

– Что-о? На машину? На какую машину?

– А на зализную дорогу, – хладнокровно и уверенно объяснил сотский. – Им там теперь вельми добре жить... Вот как разобьется вагонов с пятнадцать, тут сейчас чертякам и работа. Богацько тогда умирает людей без причастия, а это злomu и потеха, потому что человек весь в грехах, як в кожухе. А чертяка его разом цап за комир и в пекло. Може, за одну неделю душ с тысячу приставит. Ну, а ему, звесно, от самого главного сатаны за это награда... А в селе ему что за польза? Коли-николи одну якую-сь душонку зловит, да и то старушечью, лядащую. Вот потому-то они все из села и поутекали. А что, Талимон? Развидняет? – обратился он к Талимону, пристально смотревшему на восток.

– Уже. Ну, паньч, давайте собираться, – сказал Талимон, подымаясь. – Как придем на ток, зараз и день будет.

³ Летучая мышь. (Примеч. А. И. Куприна.)

Мы наскоро собрали свои вещи, растащили костер и тронулись. Небо еще не изменило своего темного цвета, но восток уже побледнел и звезды потеряли яркость. Легкий утренний ветерок, суевликий и холодный, набегал изредка и чуть трепетал в вершинах деревьев.

До тока нам пришлось идти около трех четвертей часа. Самый ток представляет из себя большую, десятин в двадцать, полянку, окруженную молодым леском. Кое-где по ней были разбросаны небольшие группы кустов.

В темноте, в полупознакомом месте, я скоро потерялся и покорно шел за Талимоном, то и дело попадая ногами в какие-то ямы. Наконец Талимон остановился и шепнул мне на ухо:

– Седайте, паныч, вон в ту будку. Сидите «нышком», не ворошите. А як стрелите тетерева, то, спаси-господи, не вылезайте из кучки... Зараз другие прилетят на то же место.

Он указал мне на несколько маленьких березок, едва белевших шагах в пяти от нас, а сам пошел в другую сторону и тотчас же бесшумно пропал в темноте. Я с трудом отыскал свою будку. Она состояла из двух тонких березок, связанных верхушками и густо закрытых с боков сосновыми ветками. Раздвинув ветки, я влез в будку на четвереньках, уселся поудобнее, прислонил ружье к стволу и стал оглядываться.

Прямо передо мною тянулись ровные серые широкие грядки прошлогодней нивы (в борозду между этими грядами я все и проваливался, когда шел за Талимоном). Восток уже начал розоветь. Деревья и кусты вырисовывались бледными, неясными, однотонными пятнами. К смолистому крепкому запаху сосновых ветвей, из которых была сделана моя будка, приятно примешивался запах утренней сыроватой свежести. Пахла и молодая травка, серая от росы...

Где-то очень близко – мне показалось, что над самой моей головой, – робко чирикнула птичка, ей ответила другая, третья... В лесу пронзительно захохотала сова, и ее крик звучно и резко пронесся между деревьев. Утка пролетела стороной, и долго не смолкало ее кряканье, все тише и тише доносясь до меня. Высоко на деревьях томно застонали дикие голуби.

Вдруг совсем около меня, на земле, раздалось громкое хлопанье крепких крыльев. Я невольно вздрогнул. Не далее как в шаге от моей будки упал тетерев; если бы я протянул руку, я мог бы дотронуться до того места, где он опустился. Весь черный, с красными, мясистыми бровями и коротким острым клювом, он стоял неподвижно, как каменный, показываясь мне всем своим стройным, красивым профилем. Его блестящий черный глазок тревожно и зорко заглядывал в будку. Я затаил дыхание и замер, не отводя от него глаз. Но тетерев уже заметил меня. Он вдруг поднялся и, громко хлопая крыльями, полетел низко над землей.

«Ну, пропала сегодня охота», – подумал я с досадой, но в ту же секунду с двух сторон – впереди меня и справа, так же громко и коротко захлопали крылья. Несколько минут оба тетерева молчали, должно быть внимательно оглядываясь кругом и прислушиваясь. Но вот один из них, тот, что упал справа, издал громкий боевой крик: «чу! чшшш...» – странный звук, который трудно передать, похожий отчасти на испорченный, осипший петушиный крик, отчасти на шипение, а также на свист ножа под колесом точильщика. «Чу! чшшш...» – тотчас же отозвался другой. Как мне ни хотелось увидеть самих тетеревов, но я боялся пошевелиться и только слушал.

Так они перекликнулись несколько раз. Вдруг первый, закричав особенно задорно и громко, подпрыгнул вверх и забил крыльями; то же самое немедленно сделал и второй. Самцы подходили один к другому все ближе и ближе, возбуждая себя перед битвой воинственными криками... Но, еще не сойдясь, они оба сердито заболботали: совсем как индюки, только нежнее, продолжительнее и не так отрывисто. Иногда они прерывали свое болботание, чтобы закричать и перелететь поближе к противнику. Я осторожно, стараясь не шуметь одеждой, повернулся и стал всматриваться сквозь просветы ветвей.

Сначала я увидел только одного. До него было не больше тридцати шагов. Он токовал, вытянув над самой землей шею, и медленно, плавно поворачивался то в одну, то в другую сто-

рону. Когда он становился ко мне задом, я видел только изнанку его поднятого вверх хвоста, похожую на развернутый белый пушистый веер. Скоро я увидел и другого: он токовал от первого шагах в десяти, так же сердито и плавно топчась на месте. Иногда оба они, один вслед за другим, подымали свои головы и прямо и широко растопыривали крылья, что придавало им надутый, гневный и комический вид.

Вдруг недалеко от меня грянул оглушительный, точно пушечный, выстрел. Эхо подхватило его, бросило в лес, и он, разбившись об деревья на тысячи звуков, долго, то стихая, то усиливаясь, грохотал в чистом утреннем воздухе. Оба тетерева, насторожившись, замерли на несколько секунд, но потом, закричав с новым ожесточением, разом подпрыгнули вверх и с такой силой ударились в воздухе грудь об грудь, что несколько маленьких перышек полетело от них в разные стороны. Упав на землю, тетерева опять принялись за свое сердитое болботанье. Я осторожно просунул ружье между ветвями и, страшно волнуясь, слыша ускоренное биение своего сердца, стал целить. Одна хвоинка закрывала мне мушку. Едва переводя дыхание, я отщипнул ее, сел поудобнее и приложился... Выстрел вышел неожиданный и очень громкий. За облаком дыма я ничего не мог рассмотреть, но уже услышал судорожное хлопанье крыльев и знал, что не промахнулся. Действительно, когда дым рассеялся, я увидел тетерева; он свалился в борозду и лежал в ней неподвижной черной грудкой. Противник его не сорвался, он только застыл на месте в чуткой и недоумевающей позе. Принимая ружье, я нечаянно произвел едва слышный шорох. Тетерев испуганно поднялся и быстро полетел по направлению к лесу.

Вокруг меня со всех сторон еще токовали невидимые мне тетерева, но все тише, все слабее. Наступало затишье, которое бывает всегда между первым и вторым током... Заря разгорелась в полнеба. Солнца еще не было видно, но верхушки высоких деревьев уже подернулись точно золотой пылью...

Через час мы возвращались домой. Талимон, который стрелял два раза – один раз передо мною, а другой во время второго тока – убил двух тетеревов, я одного, а сотский возвращался с пустыми руками и потому заметно дулся и не хотел глядеть на дичь. Талимон из крыльев каждой птицы выдернул по два пера, просунул их толстыми концами в носовые отверстия тетеревов, тонкие концы связал и нес таким образом дичь, как бы на петлях.

Нам оставалось до деревни не более полуверсты, и мы подходили уже к большому деревянному кресту, стоявшему на пересечении зуленской и печаловской дорог. Эти кресты, с прибитыми наверху их, сделанными из дерева орудиями страданий Христовых – копьем, лестницей, молотком и тридцатью сребрениками, – всегда можно увидеть на перекрестках полесских дорог. Снизу на эти кресты молодежи и девки вешают сшитые ими по обету пестрые фартуки и полотенца, что придает кресту своеобразный – дикий и живописный вид.

Когда мы поравнялись с крестом, то все трое заметили фигуру какого-то человека, бежавшего нам навстречу из деревни. Талимон своим зорким глазом первый узнал его и сказал, обращаясь к сотскому:

– Это ваш Грицко бежит, сотник.

Действительно, это был Грицко, сын сотского, малый лет восемнадцати, уже женатый, большой весельчак, вечно скаливший свои огромные, белые, как у молодой собаки, зубы.

– Тату! Тату! – закричал он еще на ходу. – Бежите скорей... у нас на селе беда!..

– Что там за беда? – недовольным голосом отозвался сотский. – Яка така беда?.. Грицко добежал до нас и продолжал, с трудом переводя дух:

– Великая беда, тату... чоловик один... жинку свою убил...

Мы переглянулись, и одна и та же мысль мелькнула у нас в глазах. Мне показалось, что Талимон побледнел.

– Ат! Что ты брешешь! – воскликнул сотский, делая строгое и важное начальническое лицо. – Какой чоловик? Когда убил?..

– Александр, тату. Ониськин чоловик...

– Да когда? Когда, я тебя спрашиваю? – закричал сотский. Он прибавил шагу, и Грицко едва поспевал за ним, пускаясь по временам вприпрыжку. Мы с Талимоном тоже пошли скорее.

– Ах, боже мой, боже ж мой, – растерянно причитал Грицко. – Вот только, только – и часу не будет... Сам пришел под хату к Кузьме Борийчуку, вызвал Кузьму и каже: «Вяжите меня, бо я свою жинку забил геть до смерти!., секирой...» Я и Ониську бачил, тату... Ку-уда!.. Вже и не дышит... Мозги вывалились... Люди говорят, что он фершала с ней застал...

Подходя к деревне, мы еще издали увидели большую толпу, собравшуюся на монопольной лужайке. Все галдели разом и без толку. Бабы, подперши ладонью левой руки щеку, а правой поддерживая левую за локоть, стояли сзади мужиков, в этих неизменных позах русского женского горя, и всхлипывали. При нашем приближении толпа расступилась на обе стороны, образовав род широкой дорожки. В середине круга на деревянном обрубке сидел Александр. Он был без шапки, с бледным, испачканным чем-то темным – может быть, даже кровью – лицом. Увидя нас, он поднял голову и вдруг улыбнулся. Странная это была улыбка – мучительная, болезненная, невыносимо тяжелая... Я поспешно прошел мимо, дальше от этой ненавистой мне толпы, которая всегда с такой омерзительной жадностью слетается на кровь, на грязь и на падаль...

Уже подходя к своей квартире, я слышал, как сотский безобразно орал пронзительным начальническим фальцетом:

– Ты людей убивать, сукин сын! Я тебе покажу, ирод проклятый. Грицко, бежи за веревками... Я т-тебе пока-жу-у!..